



Андрей Устинов

Король Эльфов

Книги I и II. Второе издание

18+

Андрей Устинов

**Король эльфов. Книги
I и II. Второе издание**

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Устинов А.

Король эльфов. Книги I и II. Второе издание / А. Устинов —
«ЛитРес: Самиздат», 2020

Гаэль из далекой Франкии - еще подросток, выпускник духовного ордена. Визит в Метару, город покровительницы ордена, должен был завершить его взросление. Но потеряв в угаре празднества кошелек и опекуна, незадачливый пилигрим вынужден приспособливаться к заморским обычаям... Поневоле зачислен рекрутом в войска местного герцога, влюбившийся и потерявший любовь, Гаэль и не подозревает, что начинает путешествие длиною в жизнь. В оформлении обложки использованы фотографии манускрипта “Royal Armouries Ms. I.33” музея Royal Armouries на условиях некоммерческой лицензии (Non-Commercial Image License).

Содержание

Предисловие ко второму изданию	5
1	8
2	18
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Предисловие ко второму изданию

Хотя в эпоху электронных книг многие обычаи неуместы, все же традиция требует предисловия к каждому переизданию.

И, пользуясь этим случаем, я благодарю тех читателей первой версии, кто долистал *читалку* до конца. И для тех, кому пришлось по душе, добавлю, что здесь не просто пририсовано сто эпитетов. Рассказ теперь от первого лица, что дало моему Гаэлю власть существовать как бы в двух временных пластах одновременно – тогда и теперь. И позволило роману быть (Гаэль сказал бы *бысть*) более рельефным.

Во-вторых, по опыту первого издания, я хочу извиниться перед читателями новыми. В книге, безусловно, будут эльфы. Но, возможно, это будут не *ваши* эльфы. Хотя, как люди взрослые, мы понимаем, что никаких эльфов не существует, а все же – многие ожидают именно Толкиеновских. Но здешние эльфы – больше похожи на кельтских друидов или ведических славян.

Жанр сей книги, безусловно, фэнтези. Но и тут требуется пояснение. Моя идея была в том, чтобы выказать (да-да! не показать, а именно выказать!) значимую разницу в мироощущении – нас сегодняшних и обывателя средних веков. Скажем, мы летим из Москвы в ЛА на каникулы, и наши шансы вовремя вернуться назад весьма высоки. Не то раньше – нельзя было быть уверенным даже в возвращении с ярмарки в соседнем селе. В 21-ом веке мы в значительной степени управляем нашей жизнью, но в 8-ом веке события управляли людьми. И только единицы, которых история позже возвеличила, могли судьбу изменить.

Затем – замечали ли вы, как нележки в чтении старорусские или староанглийские тексты? Как много лишних глагольных форм, как много тяжелых оборотов? Мы нынче летим по жизни, мы предпочитаем легкий слог, но человек прошлого сражался с жизнью, извечно перепыхивая свой надел, и не отсюда ли мудрость заклинаний, находимых в рукописях алхимиков? Как будто сама вескость сих конструкций должна была выдержать века и скепсис потомков? И как прикажете погружаться в эту реальность? Местами будет тяжело.

Затем – эта книга отмаркирована как “18+”. И не только из-за сражений и смертей... стояли действительно жестокие века, достаточно перечитать Данте. Парижские санкюлоты и русские крестьяне 17-го года – лишь пена на гребне тысячелетней истории смут, среди которых мы иногда находим героев.

Наконец – прошу (временно) простить некоторую несвязность повествования. Особенно при переходе на рассказ от первого лица – это лишь следствие возраста Гаэля. Кто из нас мог написать изложение в школе на уровне Льва Толстого? И все же – Гаэль будет постепенно мужать, от книги к книге, и речь его должна вскорости стать более взрослой.

Итак – почему же фэнтези? Потому же, почему, бегом от превратностей судьбы, спешили филистеры всех времен со времен Хаммурапи и Рима на сбивчивое представление гастролирующих актеров, спешили в *таберну* послушать заезжего кутилу. Потому что кому нужны сухие проповеди? Потому что именно в жизни, полной несчастий и грязи, хочется предаваться сказке, неумеренному восторгу и волшебству.

Король эльфов. Книги I и

II

Я здорово напился в тот вечер.

Так беззаботно и бесшабашно напиваются только в юности: девицы кружились и хихикали вокруг, даже жались тесно и лобызались, умоляя позолотить ручку. И если бы спросили меня тогда: да, именно в этом и крылось счастье!

Даже сегодня, оглядываясь с вершины лет на безусого юнца, булькающего черным пивом и хохочущего над собой, я не могу сдержать улыбку. Какой красочный сгусток движений и

эмоций, какой хмельной захлёб и ни капли горького ума! Но теперь я ведаю будущее. Я вижу ночь, будто бы стеснившуюся вокруг таверны, потому что блеклая, трепетно-нервная цепочка факелов вдоль мощеного переулка прерывалась здесь. И вижу темные закустья у косога палисада, небрежно посеребренные луной... и тень лайфера, мнущегося под угрюмой перепрелой липой, ждущего перевернуть мою жизнь.

Судьба короны зависит иногда от пустяка. Так говорят эдды, так говорят люди. Но люди не ведают, что случайностей не существует. Что большинство из нас – лишь смешные марионетки, послушные паутине судьбы.

Пожалуй, придвинусь ближе... как же звали этого безыменного лайфера? Ах, наверняка и вы вздрагивали иножды (брр! что за слово!) среди ночи и дня, как будто кто-то незримый дышит за плечом? Как будто подходит плотней, выпрашивая ваше имя?

Теперь я слышу его тайное дыхание, клубящееся в прохладном эфире, – его звали Джеб. Забавно, столько годин спустя, наконец познакомиться с виновником собственных приключений. О, да! Он рос и жил неприметным окаянником-лайфером и судьба редко баловала его. Но в эту ночь – ночь равноденствия! ночь Мабона! – Джеб-молодец чуял редкую удачу, горячую кровь и заставляющую дышать прерывней, переступать и шуршать мертвой листвой. Неизвестно, какая из вечных норн вдохновляла его, кривляясь и хихикая над блестящими спицами, но, по крайней мере, его имя внесено в Книгу.

Что же! Присаживайтесь, дорогие лицеисты Коголана! Присаживайтесь, будто уличные зрители, привлеченные актерским выкриком с подмосток. Мне ли не знать, как мы и сами ценили уличных рассказчиков, сбегая с вечерних молитв? Помните ли транскрипцию:

Denique caelesti sumus omnes semine oriundi
omnibus ille idem pater est, und alma liquentis
umoris guttas mater cum terra recepit

Мы все произошли от этого небесного семени, у
всех нас есть один и тот же отец, от которого земля,
питающая мать, получает капли жидкой влаги.

О, я помню все, как будто вчера: мы смеемся и шлепаем сандалетами вниз по широким потертым ступеням туда, к рыночной жизни, к узким переулкам любви, но я оглядываюсь минутно: и будто сама Alma Mater Metara добродушно взирает с вечного пьедестала нам вслед, пересчитывая наши пятки. Ибо жизнь и есть мистерия. Ибо кто в наши дни разумеет эдные мистерии, кроме служителей Глаха?

Тяжелые двери трактира распахнулись со вздохом и выплеснули в ночь все чохом – эдакий сбитень из переменчивого жара и духа печеного мяса, хруста глиняных черепков и визга угорелых прислужниц, да гортанного смеха постояльцев, собравшихся до ветру...

Их было двое. У рыжего крепыша, мнущегося у косяка, по завиткам бороды искорками скакали отблески огня, да и дверная половица будто плясала-потрескивала под ногами, так что напоминал он отскочившее от очага тлеющее полено. А второй, молодой, – полусогнувшись, бледным пятном прошмыгнувший мимо рыжего, качал теперь белесой макушкой над купюю лещины – точь-в-точь призрак кладбищенский, страдающий над могилой.

Джеб – лайфер, темная тень в темной тени, – встrepенулcя, прищурился. Но лица юноши было не разобрать – даже лунный луч, что вырвался как по колдовству из тайной бойницы мрачной облачной башни, стушевался, будто ослепши, закружил наощупь около русоголового, едва цепляя, да тот еще, кряхтя, ниже засел в кусты.

– Псс-т! – ласково прошил Джеб, неслышно распуская тесьму куртки, и тут же из-за откинутой полы, из особого мехового кармана высунулась, нюхая напитанный трактиром воздух, уродливая мордочка ушана. Бережно выпростав его из кармана на рукав и разбросив тряпицу-попонку, Джеб мягко подкинул серый комок вперед – тут же ушан распустил кожи-

стые рукокрылья, в два беззвучных маха выправил полет и, в одной пяди скользнув от лика юнца, признательно заверещал, забиваясь под массивный водосток.

Да – именно эту парочку караулили лайффер и его мышь. Именно этого заморского молодкососа, блеснувшего нынче денежкой на городском рынке – то-то, небось, пьют сейчас сладкий розовый мускат за его невинность ветреные кабацкие красотки. С ума свели недотепа, звонко хохоча: “ох, спаси меня Метара, достоинство-то пуце Глаха! потеши девушку, красавчик!..”. А рыжий чурбан – поставленный, можно коренной зуб дать, присматривать за мальчишкой – знай-сам накачивался на дармовицинку золотым метарским элем, мешая сорта и путаясь то с беляночкой, то с чернавкой, да подначивал недотепа начистить-таки девочкам перышки в одном глахотайном месте – “ну ты не промахнись!..”.

– Ах, нечисть! – тем временем, взвизгнув петушком юнец, отмахиваясь от примерещившегося упыря. Угодил голой ляхой куда-то в склизкие заросли крапивы и еще запричитал в голос: – Ах, нечисть, ах, нечисть!

Рыжий тоже икнул испуганно: за спиной его маячили багровые тени, несся гогот как от тыщи чертей, а впереди, куда он зашагнул было, все омертвело под пепельным саваном повергнутой в облака Луны. Ничего этого рыжий, конечно, так тонко не переживал, все еще пребывая в золотом дурмане, но золото вдруг осело горечью на небе и – слишком громко, точно перекрикивая мертвящую тишину, – он кликнул дружка севшим, фальшивым голосом:

– Удобства-то с другого боку, мастер Гэль! Куда же вы в самую колючь?!

Рыжего Джеб убил сразу – еще тот досипывал фразу, еще выдувал искристое облачко пара, словно хмельную душу, еще скрипела перепуганная половица под кожаным сапогом, а смерть уже расколола его висок темным зубрием уверенно брошенного кинжала. Сполох пьяного смеха, выплеснувшийся из глубин трактира, кстати заглушил звук падения: слышен был только слабый шелест-хруст, как будто тлеющее в очаге полено таки подломилось. “Поделом же старому шаромыге”, – пробормотал Джеб с неожиданным чувством.

– Тебя бы, дядька, так прихватило, – отозвался звенящему еще в ночи вопросу рыжего ломающийся дискант: нотка бодрости, нотка обиды, нотка стыда – вся гамма подростковых эмоций. Затем раздались треск веток, шуриание и топотание, облегченный выдох, – исполать, мастер Гэль натянул-таки штаны. Вновь выглянула Луна, а за ней и белесая макушка опять беспечно заплясала над кустами...

“Гэль! Что за имя-то несуразное. Эх, молодо-зелено!” – покровительственно оскалился Джеб, звериными шагами-прыжками подбираясь к темной купе. И еще ухмыльнулся, по-доброму потчюя затылок недоросля каленым кастетом: – “Чай, до свадьбы заживет!”.

1

Наперво мне снились тишина и темнота, в которых я плавал и ворочался, аки нерожденный. Позже привиделось, и весьма явственно, что кто-то упорно светит в глаза огромным оранжевым фонарем, бьет что есть мочи по лицу огромными же – пожалуй, с парадную тарелку! – холодными ладонями и кричит пронзительным голосом, поминая весь небесный пантеон: “Вставай! Бодрись!”...

Неужели продрых молитву в ликейоне? Я поспешно размежил веки...

Вот чудеса! Меня отчаянно хлестал по щекам плосколицый веснушчатый малец с голубыми глазами по восемь севов, истово бубнящий церковный чин:

– Поднимайтесь, сударь. Пожалуйста, поднимайтесь! Во имя Голоха, защитника нашего, и супруги его Метары...

Лучи солнца, которое таилось за затылком парня, обрисовывали вокруг его головы нечто вроде нимба божественного присутствия, точно Метара и впрямь проявила легкий интерес к происходящему.

Ах, не ликейон! Но, видимо, каникулярный день? Все это меня изрядно веселило. Я пребывал в чудеснейшем состоянии, какое бывает лишь в детстве: когда сам ты практически невесом и легко паришь по окружающей действительности, удивляясь любому ее цветку. Я с довольством отметил, что веснушчатый мальчишка (мы таких дразнили *рябчиками*) ведет себя недостойно, весьма несдержанно, и вот-вот разноеется в ручей, тогда как сам я наконец-то абсолютно собран, спокоен и ах как великодушен. Мысли мои были столь быстры и пронизательны, вы не поверите, что я заранее улыбался еще не сказанному каламбуру. Мальчишка просит привстать? Стоило ли отказывать малому в столь малой просьбе? Ахаха! Тут я со снисходительным интересом отметил, что не совсем помню, как же это делается, и мир перевернулся: солнце с головою зарылось в лопухи и разбилось в росную россыпь.

Второй раз я очнулся в некоем трактире, впрочем, вполне требном, – судя по помпезному очагу из грубых камней в центре и ломаному полукругу длинных, изъязвленных кинжалами деревянных прилавок. И сейчас же яркое воспоминание-видение затрепетало в голове, подобно мотылю, пробужденному ото сна. Представлялось, как гудит-беснуется в очаге окованный камнем огонь, как камни сии раскаляются докрасна и ярко шипят, если горластый шутник нет да и плеснет на них остатки горького эля из кружки, как слюдяные оконца отражают сию краснотищу и жар обратно в пивной зал, так что разогретые едоки, вовсе дурея, пускаются вокруг очага топтать плясовую. Да! А в очаге – грубо нарубленные вязовые сучья той-дело встрескивались, дрожа... будто всяк из них, оберегая закопченный бок, норовил трусливо отбиться в угол, но трактирщик-погонщик небрежными тычками мыкал их обратно. Но *щас* зал был пуст и выстужен, слюдяные оконца блекали тускло, а прямо в очаге, выгребая золу чуть не сопаткой, орудовал давешний плосколицый малый.

Тут из-за шишки очага донесся какой-то шур-шур, всплеск сладкого смеха, и милая румяница выбежала ко мне с медным тазиком парной воды:

– Позвольте, сударь, промыть вашу рану?

– Мерсі, мерсі... Чем имею честь? Что же?.. – Я вскинулся было вопросничать, но комната как будто закружилась вокруг ее ясного личика. Я не совсем понимал, что происходит, но девчушка мне с ходу приглянулась.

– Но сударь, ваша рана, такая беда! Извольте ли минутно пригнуться? – Ах, она была вся в прелестном женском нетерпении, вылитая моя сестрица! Знаете: стоит той вбить какую-то заботу в кудрявую головку, и серчать бессмысленно, ведь любые резонанции кажутся ей ничтожными!

Тут по-прежнему крылась большая неясность – что же стряслось и с кем, что за пустые отговорки? И крутился на языке не менее животрепещущий вопрос: с кем-то гризетка-плутовка там обжималась? Но пришлось кивнуть ей с дворянским небрежением и, подложив под занывший лоб руки, упереться губами в пахнувший сладким элем стол, пока прислужница мягко ерошила мне затылок теплыми пальцами. То она щекотала шею оборками тонкой холстяной робы, то, сквозь робу, касалась плеча твердеющим соском – это сбивало с мысли не хуже пинты темного! – но едва я разнежился мечтами, как, глухо ворча, явился сам трактирщик – долгопалый бородач, способный уморить не одну райскую птичку одним кислым дыханием. И моя, конечно, немедля упорхнула!

Трактирщик же оказался обрядником, что было видно по его пестрому хитону. Пестрому не цветом, но обилием тщательно вышитых синей нитью сцен, по всем двенадцати деяниям! Есть же такая безобидная заморская секта, мне ли не знать, в ликейоне на богоправии нас мучали ими целый семестр. Вот и трактирщик был нуден и несносен, утомил меня совершенно. К тому же, зудействовал этаким покровительственным тоном, которого даже наш декан себе не позволял, да еще для выразительности прищелкивал сухими пальцами:

– Изволите ли чувствовать улучшение, мой сударь? Разумеется, я немедля выслал мальчонку за стражеским дозором... ну бишь, когда заметили эка поддувает в бочину. И вашенского рыжего компаньона утележили еще тепленьким, так сказать, уж поверьте мне. Или, печальнее сказать, уже тепленьким. Кхм. Наше вам сочувствие и молитва! Но беда-с, что по тьме-то за орешник и не глянули, где вы, так сказать, столовались...

– Ради Глаха, сударь! – воскликнул я раздосадованно, ничего не понимая в его болтовне. – По-вашему, я белка? – Замечание мне показалось весьма смешным, и я даже скорчил беличью морду, но трактирщик стушевался, всплескивая руками:

– Я же от чистого сердца желаю помочь молодому сударю. Ибо, ежели нет авуаров в купеческом доме, то ведь обнесли дочиста!

– Да какому молодому сударю? – я схватил уже трактирщика за пестрый рукав, пытаюсь встряхнуть, да куда там! Глаза его... глаза его в тусклом свете будто закатились и желтели одними белками. – Вы мне ли? Я не брезжусь с торгашами! Эй вы! Послушайте, вы прямо как рыночная гадалка, которая не остановится тордычать, не закончив пророчества!

Я не знал плакать или смеяться. Но трактирщик, как и все обрядники, шуток не принимал и продолжил сердито:

– Потому что куда теперь молодому сударю? Куда же? – ах, кажется, он и впрямь тщился докудахтать заявленную речь? Это я легко мог себе представить. Небось, заранее тренировал аргументы на кухарке, потому-то постоянно и сбивался на третье лицо? Так и докончил с ревностным нажимом голоса и еще раз прищелкиванием перстов: – Но ибо есмь искренний *скрижальный* человек, то готов приютить и по дому как раз бы временный помощник...

Ах! Верно ли я понял сего наглеца, каждое второе слово сдабривавшего тухлой отрыжкой?

– Послушайте, сеньор святоша! Что-то вы расщелкались! Позвольте мне, как говаривала моя почтенная кормилица, сложить мысли в пучок и без обиняков их вам разжевать! – я встал с любезной улыбкой, опираясь на пошатнувшийся прилавок... Да и комната будто закружилась, сводя с ума, но не праздновать же труса? Я высказался, медленно разжевывая слога, точно скармливая их, посчетно, тугому борову:

– Я дво-ря-нин!

Ай да обиняк! Твердые слова будто бы и миру вернули твердость. Трактирщик, понятно, залезбездил, дыхая мне прямо в лицо еще новыми дурными ароматами:

– Да не обиделся бы мастер Гаэл, да верно ли мастер Гаэл хорошо себя чувствует?

Да не объелся ли он сам, с утра-то, квашеной капустцы?! Ей-ей, о ком он все талдычит? Я все-таки не совсем его понимал. Пусть-ка сам разбирается со своими постоянными собутыль-

никами! Пришлось выразиться еще прямее, в расчете на прямую извилину собеседника. И пресмешно же вышло:

– Сударь, отобедать с вами я не смею! Благодарю! Дела-с!

Верно кажут – простолюдие страсть как любит, чтобы его величали сударем. И мошенник эка заважничал, зафамильярничал – бросил торжественно, свысока бороды, даже не слишком расходуя отрыжку:

– Ну, ступайте, ступайте, высокий сударь. Было бы предложено, долг мой исполнен, и от души! Дай Голох здоровья!

Ах, я даже не стал тратить на него последнее слово! В ликейоне меня высекли бы за подобный диспут, но каникулы же? И легко – наконец на чистый воздух! – выскочил было, да чертовы дверные створы оказались лишку тяжелы для моей легкости. Но с подмогой подскочившего плосколицего...

Солнечные лучи едва не пожгли очи. Я прикрылся ладошей. В ушах звенели голоса. Почудилось, что, отражаясь от закопченных оконеч, от мутных ночных луж, все политические новости, все местечковые сплетни превращались в пытливые искорки света, мельтешащие перед слезящими глазами... Постепенно зрение прояснилось: да что же это? Чуть ли не зеленокожие химы, которыми кормилицы пугают детей, просеменили мимо, разноречиво горлоча. Или солнце отпустило еще одну цветастую шутку? Порывшись в тайном кармашке куртки – пусто! кажется, надлежало бы кинуть плосколицему службе хоть зазеленелую медяшку, эх! – я панибратски буркнул *merci*, неуверенно махнул рукой и, перезапнувшись раз-другой, обнаружил себя в середине бурлящей улицы. Так вот, увлекаемый водоворотами квартальных интриг (вздорных соседских склок, приветствий с размашистыми хлопками по плечам да тычками в бока – да вы знаете, каково бывает, тут и к обеду до угла не доклячишь) я побрел, полный зевака, незнамо куда, незнамо зачем. На каких-то горелых развалинах стайка плохо одетых и чумазых уже ребятишек пыталась играть в прятки, рассчитываясь. На сохранившейся чудом штукатурке кто-то уже начиркал углем неприличное *граффито*... Ах, почему и весь мир казался мне карикатурой? Кажется, я действительно был чем-то болен? Но не возвращаться же к трактирщику поваренком?! Так я и побрел, потерянно твердя под нос только что подслушанную детскую считалку: “Это город, в нем живут герцог, стражник, баламут, лекарь, пекарь, поп и плут. Кто в нем я, что я за люд?”.

Вывеска гласила так: “Эл и Пирси”. Буквы были важные: золоченые, с завитушками и оттенением, так что необученный долго бы шлепал бестолково губами, напрягал морщиной лоб и выскребал перхоть из затылка, не в силах понять их склада. Дальше разъяснялось: “Робы и Хламиды. Кафтаны и Камзолы. Прочее”. И здесь тоже крылся расчет на господ с изыском: каждая литера рядилась в соответственные миниатюрные одежды – все *робы* обернулись куртуазно в розовые полупрозрачные платьица, а семеро *камзолов* натянули блестящие, иссиня-черные мундиры. Низ вывески украшали заманные иллюстрации грядущей жизни клиентов; тщательнейше, до последней нитки выписанные костюмы, посыпанные при росписи слюдяной крошкой, дабы блеск их вовсе не мерк, полупрозрачные камушки, вкрапленные на места благородных камней в рисунке, – ох, буквально приворожили меня, прервав безвольное кружение по базару.

На центральной сценке богатый кровь-с-молоком кавалер любезничал со смущенной дебютанткой. И восхищала в таланте художника возможность мелкими деталями передать прохожему зеваке нечто нетленное – жизненную ауру сих неживых персонажей. Каким не ведающим слова “медь” достатком веяло от серебристого орнамента на вязаных гетрах мужчины! А кованые металлические пуговицы на них вместо банальных тесемок?! И какой таящейся удалью осеняла хозяина фигурка ловчей птицы на церемонной придворной шапочке: пусть сокол смирен и обучен командам, пусть он пока в клубочке, но берегись, добыча! Ужо тебе!.. У

девицы же в темную гладь волос под широкими полями плетеной шляпки, укрепленной позолоченными булавками, были вживлены художником еще некие игривые золотишки: угадай вот, то ли пустые искорки солнца, проскочившие сквозь соломку, то ли любовный пламень, как по соломе разгорающийся в дотоле бесстрастной девичьей душе? А ее теплая белая хламида, вдруг наполнившаяся нежно-зелеными переливами от заволновавшейся муравы?!

Но собственно лица были выписаны слабо – телесного цвета пятна, штрихи да полутени, – так что, мысленно воспарив из грязного дорожного прикида, я легко представил *там* себя. Щурясь на резком, вышибающем слезу ветру, я тщетно ловил ответный взгляд красотки: волнующиеся поля шляпки открывали только дольку щеки, на глазах розовеющую. От свежего ветра, от смущения ли? И еще манил узор на ее робе (и как доселе не разглядел?) – былинный алый пимпернель, вешний цветок, гнущийся стеблем на складках ткани, но вдруг процветший сквозь них, словно сквозь плен девичества, и обещающий... Что и кому? Ах, что за магия?

Но зычный голос какого-то базарного раскупчика вдруг полез мне в уши, размашисто расталкивая волшебные звуки картины:

– Эй, деревенщина! Не разевай-ка зенки попусту! Ба, что я вижу? Стой! Раскрой ладошки – и я отсыплю-те десять монет за порты столь невиданного фасона! Гляди-ж-ка, а мечты твои наслюнявили тебе пригоршню блестящих левов! Откуда же ты, такой карасавчик? Кевлар? Не-е! – ах, я уже откровенно морщился от его криков. О Глаше! Он такожно выговаривал “не”, будто ржал вживую: – Не-е, те мужское достоинство меряют бахромой на лампасах и тебя, друже, они сочли бы природным скопцом! Ха-ха-ха! И ты не из Авенты, ясен гульффик, ибо тем лавласам твой грубый пенал натер бы всю промежность! Ха-ха-ха-ха-ха!

Поневоле причудился – чуть не за шей! – эдакий торгосвищер в пестром кафтане, потыкивающий сальным пальцем в раззявившегося на местные прикрасы бедолагу.

– Pardon, mademoiselle, – неловко расшаркавшись перед девой, политесно замершей в знак повиненья, я живо обернулся: неужто товарищ по несчастью? Помочь ли? Но увиденное казалось еще одной фантазией. В какую же потустороннюю историю я попал?..

Дом с вывеской продолжался направо этаким широким подиумом: дощатый щеластый настил под косым навесом, стланным выцветшей вихрастой соломой. Но опять с претензией – с перильцами и лавками вдоль них, позволявшими созерцать широченный цветастый половик в центре... Хотя, не такой уж и цветастый: длинная плешь свидетельствовала о регулярно даваемых лицедействах. Но как и все утро шло наперекосяк, и тут все было наизнанку: на той авансцене, возвышенной над партером площади, двое актеров важничали за всю труппу, потешно изображая толстосумов разного настроения. Один – пузватый приземистый сударь в знатном кауром кафтане (не с железными пуговицами, ладно, но с костяными уж наверно!) – безлично пялился прямо на меня, поковыривая в зубах острой щепой и смачно сплевывая в партер, чуть не на сапоги, ей же ей! Второй же как раз – точная копия первого, но в кафтане более светлого колёра, – активно скоморошничал... Кажется, я и рот раскрыл аженно-саженно от изумления его искусством. Актер бегал судорожно вдоль противной стороны террасы, смешно спотыкаясь той-раз о малость недобитые до нуля клинья (я-то сходу заметил: доски-то свеженькие, еще перестилать их после усушки!), вздымал стало быть руки и вообще горнольствовал перед совершенно пустой аудиторией – ибо площадку снаружи покрывала мутная лужа с размятыми в грязь берегами. Прохожий поток, голохясь и толкаясь, умело обтекал ее, издали косясь на вспотевшего оратора и ехидно лыбясь. Актер же – к чести его искусства – пустой грязной лужи и гнусных химских ухмылочек в упор не чуял, а только выражался с еще большим апломбом. Так что натурально чудилось: да где-то рядом он, тот бедолага, адресат послания, надо лишь оглядеться попристальной. Мнимый купчик меж тем, вобрав в легкие побольше воздуха (да еще за щеки прибрав по довесочку – ну чистый торгош! брависсимо!), продолжал – то возвышая голос в басы, то артистично снижая до мечтательной вкрадчивости, маня и ошеломляя:

– Ты ведь из-за Коголана, а? Из-за Коголана! Да, впечатлительный у вас там крой. Пополнить, что ль, мою коллекцию провинциальных прикидов? Ты же за десяток звонких левов взymesь се живую дамочку, раздетую пояре сей картинной красотки, да притом обученную особым манерам! Десять могучих львов за проношенные штаны, это ли не щедрость?! Не-е?! – О Глаше! Конец ли? Но актер перевдохнул и продолжил галоп: – Порты не стоят того, конечно, но что золото? Богатство не мальчика, но мужа нам знамо в чем, и твое-то немалое будет! Может, дело-таки в волшебном гультфике? Ха-ха-ха! Давай их сюда!

У меня уже цветасто мутилось в глазах и переливчато звенело в ушах от его похотливого крика. Что же, в самом деле, за уличный фарс и для кого играемый? Какие штаны, какие переодевальные маскарады? Голова моя горела, мысли смещались и путались друг за дружку: и красотка, где красотка?! Ах! – вот ее платье теряет ветер, блекнет, замирает заскорузлым пятном на вывеске, а цветок с груди вовсе исчез, будто и не прорастал. И что я намечтал! И все же – так торгашествовать, толковать о снятии штанов в присутствии придворной дебютантки? Мужланы!

– Э-э! Да ты того! Фьюить! – вот кто это сказал и кому, да еще с выразительным *фьюить* пальцем у виска? То ли тот актер-пустозвон, то ли... сей вынырнувший откуда-то сбоку, чуть ли не из той пузырящейся лужи, подозрительный хлыщ-шпынар, с тихим смешком потянувший меня за рукав (и что за несусветное панибратство опять? таковы ли местные манеры?) и чуть не силком усадивший с разгону на какую-то вонючую селедочку... мерзость! мерзость! мерзость!

Так вот, полуприсев-полупритершись к низковатому бочонку, до того отсырелому, что отдаться ему всею задницей мое естество никак не хотело, хватанул я полные легкие маринадного дурмана и мир... свернулся вокруг меня во что-то вроде кокона. Ей-глаху, будто бочка вокруг селедки! Мерзость! И лишь собственные мои сапоги маячили понизу, трепыхаясь-переминаясь в мерцающей рыбной чешуей луже. И разум мой все пытался зацепиться за знакомые понятия, как за наживку: в левом-то сапоге сквозь трещинки в подошве уже сочилась вода – зябко! – а вон на правом суровая нить разошлась и размахрилась – неприятно! А тот добрый дружок, товарищ по несчастью, что завел меня, так сказать, в эти воды ради минутной отдышки, сам дрожа и прижимаясь ближе, чтобы быстрее вдвоем отогреться, все подбадривал вымученными хохмами, словно за леску вываживая обратно к миру живых слов и красок:

– ...приваряжили рисовальщика авентийца. Экая высокая краса вышла, приезжие все в ряд стоят и роты разевают! А у них и материалов-то таких нету. Шерстяные гетры – да где видано? Вона одни суконные! Ты ему свой штанец не продавай, дуже знатный, – тут в поле зренья возникла грязная ладонь с обгрызенным ногтем, деловито пощупавшая материал поверху и даже приятельски влезшая в мой карман, чтоб оценить подкладку, – нешто передерет фасон и такой же ты сам у него еще купишь!..

– А Пирси-то опять облажался, опять глаза перепутал! А ты не знаешь?!.. – рука так неожиданно-дружески ткнула меня в сплетение, что даже икнулось и в глазах завечерело, но тут же мой приятель сообразил ошибку и быстрее-быстрее распустил мне пояс, кинулся тщетно растирать грудь, чтоб задышалось ровнее. – Дыши сюда!

И полился такой рассказ с чесночными придыханиями, что я диву давался: что за рассказчик! Али тоже из актеров? Али рассказ, заранее меряный для путников, чтобы пожертвовали стотинку? Но разум мой слабел с каждой фразой и даже ноги уже никакого холода не чувствовали. А слова лились и сливались в блестящий ручей сказочного бытия:

– Эл и Пирси... вышлепки от одной матери... ага!.. Голох знает ской лет назад. Бабы-соседки стой уж лет шушукают, что в пай к портوماстеру вошел-де ушлый купчик с базара... А муж-то с той радости начал поколачивать женку со всякой проданной хламиды. А как был он человек работающий, той гуленка вскоре и представилась. А щенки точно выжились разные: кре-

пыш-смолянец и верткий рыжеморыш... и в кого бы? – хех! И в манерах той же: Эл все прибирал-прилаживал отцовы лоскутки, тачая кукловые кафтанцы, а Пирси все шастал по округе, выменивая у девонек местных (все им деревянных пупсов нянчить! нештоб взрослое ремесло освоить... хех) самое святое – златы нитки, знаешь ли, кои любы-девицы прянут в волос, чтобы суженому прынцу... хех... было чем приворотиться...

Но тут ласковый ручеек будто пересох и сбился на смутное бормотание (“так, тут нет”), расстроенный вздох (“что ли в дальнем”), а потом шпынарь, точно прощеваясь в крайнем дружеском порыве, навалился всем телом спереди, чуть меня не целуя, тыча в нос неухоженными усами и источая изо рта тот самый дурман селедки в чесноке. И тут-то меня аж проняло на ровном месте, – а подлинно люд ли это, а не сказочный *морской хват*, о коем тоже говаривала кормилица, что ловит рыбу *вниз*, водит кружевами до изнеможения и тянет на тёмно дно, пожирая с икрой и молоками? Трепыхаться, впрочем, не было мочи, и вражьи уста бесспросно протискивали мне в уши складную заманку:

– Но теперича-то наши братцы просто в дупель близняшки – глянь-ка! И то сказать, древним колдовством кровь себе перемешали. Экий чудный заговор заказали, от недоверия друг дружке, чтобы братовыми глазами подглядывать и пользоваться – о как! В четыре глаза дурачин стоеросовых ищут, иноземных и пришлых! Да ведь тут не гнилушки на пуговицы сверлить – вечно напортачат! Я же знаю, подмастерничал у них, тьфу! Еще и должен остался за науку! Вон старшой зенки пялит на тебя, а младший знай долдонит – ну, умора! Постой-ка...

– Тю, да ты уже пустой!.. – приятель мой будто облегченно выдохнул, хлопнул насмешливо мне по макушке и исчез. И ах! Будто сплюнули меня из смурного морока обратно в бесполезную жизнь. Вот и *хвату* не спозарился! И опять я сидел одинешенек на холодной бочке с ногами в склизкой луже, и народу вокруг – гиблый поток.

Бр-ррр!

Если по чесноку, я дуже замерз и не понимал ничегошеньки. Слова в голове кружились самые разные, буквально наперебой... О волшебниках-то слыхивал, да все по вечерним сказкам. А тут знамо-незнамо – живые вывески, говорливые химы, чернокнижие какое-то вдоль и поперек. И еще кормилица не одобрила бы, что болтаюсь по толпе, – того и глянь, заразишься ротозейными мыслями, и сам начнешь простолюдно лопотать. А дворянское отличие какое? Так и девиз отческий учит: *Non multa, sed multum!*

Так я немного приободрился, даже пошлепал сам себя по щекам, и побрел дальше: мимо рыбачьих таверн-шаланд – один покосившийся лабаз клонится, что поддатый штурман, на плечо другого, и рты-двери пораспахнуты, словно давая волю отрывке... И самый воздух все более тяжелел и дышал селедкой, эдакой живорыпой селедкой, когда еще блещет боками и треплется охвостьем в полурванных сетках и, раз на тыщу, милостью Лима, у коего (знамо!) водоросли вместо козлиной бороды, удастся какой худышке, селедке-девчонке, высклизнуть в родную серость-хмурость, дабы заклясть родных и близких держаться далече от этих берегов (потому и рыбы меньше год от года – кормилица говорила)... Эх, что за страна-то?..

Уф!.. Высклизнул и сам наконец из трущоб, ан-то располудное солнце и шибануло по темечку тяжелым горячим лучом, будто вытапливая остатки разума. “Зри, куда прешь!” – кто-то да гаркнул мне в ухо и крепко приложил локтем о третью чакру, какой-то *матросня*, черный пахучий немореец с косицей и серьгой, и только... раз, два... пять биений сердца просчитав, задыхаясь еще гневом, сам-с-усам как налименьш необсохший, тогда-то и понял, что дикарище уберёт меня от ныряния с неогороженных мостков куда подальше – в свинцовую унылость, в гости к девчонкам-селедкам, давно оголодавшим по людским косточкам. Уф!..

Я был почти в порту, поодаль от разноперых-разноокрасных кораблей. Легкий вихрь, абы чары наводя, трикратно встрепенул мне неприбранную шевелюру, просквозил до чиха, и предметы вокруг задрожали, замножились в пробитых слезой глазах, будто смеживаясь в единый

вид со всей ленты своего повременья. Понаветру (так они, вроде ж, на море кажут?) за пару пролетов уже – зазеленелые валуны-окатыши и грязенький песок, дрожащий отчаянно под хлопчущей волной. И мертвый плавник, брезгливо отброшенный морем на серый песок, чтобы согнивать все грядущие века... Или – лучшая участь! – безыменный мастеровой в безымянный час обогреет чадом его свою лачужку и наскажет сыну сказку о Лиме. Ах, как знамо!

Ах... а слева! Мнется на канате водная стрекоза – красавица-шебека. Три невидимых паруса, усеченных триангла, убраны к реям, этакое трерукое чудо! А другое чудо ее – уложенные по борту карминные весла, готовые взметнуться храбро и плеснуть, без опаски тлена, по мертвой воде... А вона на корме, где лонжевались под солнцем зажиточные пассажиры, где по елейному их слову запрыживали к ним в ладоши доверчивые летучие рыбёши Неморья... и где-откуда, в серый туман, тоже замолодев глазами, как на русалий зов, истово мямля на древнеречье молитву-песнь, сиганул за леер старик боцман... ах, стоит будто дух его! Стоит кто-то, и глаза те же серые, как плещущая под тенью шебеки густая вода, только серьга золотая, качаясь, ворожит взор... ах, то шкипер! Скоро видать и ему в гости к Лиму (сам так приговаривал дцать раз).

Да, чудно быть на бережку да под твердым солнцем после сих морских недель, больно уж чересполосных погодой. И голос чей-то сверху – наше вам! таки приплыли, мастер Гэл! – режет память, аки светлый выплеск в свинцовой волне. И верно! Какой-то дядька вроде бы хлопал да хлопал давеча по плечу (по сю пору ноет), было ли так? Да-да! Приплясывая от радости и что-то неудержно, до распалубного хохота *матросни*, сквернословья про горячих девок: приплыли, Гэль! Здесь было, не здесь? Кого-то зовут Гэль?..

Ах... О Глах Великий! Я как раз шагнул под мачту и упавшей тенью так будто и шибануло мне по макушке: Гаэль – это же я сам! Давеча, ах, сковыльнули мы с той шебеки, измученные Лимом сполна, прибывшие с дядькой... Тимоном? Пимомом? Как же звали родича? Шкипер с мертвыми глазами еще окстил нас сторожиться лайферов... Что за лайферов? И прибывшие куда? Ах, с вояжем совершеннолетия да в Метарову купель – моего совершеннолетия! И воспоминания нахлынули... будто стая чаек, перебивая друг друга, будто зеленые волны, каждая из которых первая спешила утянуть на дно...

Ах, что за лом в голове! И что за брызги скверных на вкус волн, плеснувших в лицо через солнечный луч? Но о чем рыдать, аки сестренка на выданье? Свадебный наряд не воротишь! Зря ли те растрепицы (так положено) певают на кручильном девичнике: и солнце чем ярче, тем гуще тьма...

Вот так вот я и оказался в Метаре.

А прочие злоключения того дня – все почти забыл. Так бывает, ежели очи застит темь, чувства притуплены, будто и нет тебя, но тело как-то шевелится, беспцельно еще движется, ибо не было команды остановиться, да и где остановиться? И в памяти потом – не яркие краски юности, а сухие остатки, как бы монотонный старческий пересказ со стороны.

Но все же... к чему лукавить? Я мог бы теперь шагнуть в ведический транс, легче легкого мог бы вычесть всё, что тогда отразили очи, до прозрачного рисунка на облаке, до тараканьего следа на липком фруктовом прилавке, до подрагивающей невесомым волоском бородавки на лице торговца. Но я предпочитаю помнить так, как помнил. *Non multa, sed multum!* Я предпочитаю смотреть со стороны – и помнить того испуганного паренька, а не зиллионы прохожих во цвете их лет. И потому также не передаю большинства разговоров, все эти подмигивания и подшмаргивания... потому что нет в них знания, а только базарные крики. А чему вас, любезные собратья, учат в родном ликейоне? Что слово есть смысл! И потому вот вам я: беспомощное существо по прозвищу Гаэль Франк, эдакое чучело вдали от родных полей – в незнакомой стране... Полезно иногда смотреться в зеркало времени!

Базар. Некий торговец (другой) подталкивает соседа локтем – вроде видели *хорохорицика* вчера и спорили, скоро ль обдерут/замочат. Хочет хоть курткой поживиться успеть, – опять бо штанная история, опять разжиться заморским образцом? Гаэль (это я) от предложения торговца шарахается, как от гадкого прокаженного. Улица толкает его в порт. Бредет совершенно бессмысленно: ах, да и мог бы попытаться продать куртку, сапоги, наняться матросом – вон их сколько – но нет, это одежда дворянина, ее продать нельзя. Нельзя...

Идет за какими-то торговцами к рынку мимо храмов – безразлично. Мимо рынка рабов/рабынь – безразлично (торгуют молодку-красотку).

Бродит по рынку, воображает троллевы пиршества этими кучами еды. Приступ голода до рези – ищет того торговца-острослова, да уже тью-тью, другой предлагает меньше – Гаэль отказывается. Снова бродит, глотая слюну. Птичий рынок – гномы-фокусники, представление Аристофена (так кричит зазывала-деревенщина, неверно ударяя в бубен), гоблины – дикие звери в клетках. Чуть не одуревает от вони – в изобилии домашние ушаны, приученные к хозяйской руке, листоклювы, мирные фруктоеды и вампиры-кровососы – для защиты крова. Кружит, притягается к рынку неизбежно, те же запахи еды, все те же лужи-помои, все те же гномы пыжата, те же гоблины воют в клетях. Примеряется тырнуть хоть корку, да боится – видел, что стражники сладостно мутузили кого-то.

Эйфе с яблоком (делится – не дарит, а именно делится). Ах, Эйфе! На рынке она ждет отца у здания – выбегла из здания на крыльцо (хотя велели не теряться), грызет яблоко... Эйфе – кличет ее няня-компаньонка – и имя западает в память. Белокурая нимфа, потому что в зеленом. Чем-то напоминает девчушку из трактира – тем же эманатом свежести, точно они сестры (хотя этого не может быть, но так кажется и это немножко вгоняет в раздумье). Тоже нарядная, но ясная дворянка, это как осенний и весенний дни – тоже дни. Ах, что за философия! Долго мнется вокруг нее, потом ее находит-уводит няня, подозрительно косясь на Гэля – что он от вас терся, госпожа?

И откуда-то струится чистый воздух: нет, я дворянин, лучше я сдохну, чем буду просить милостыню у сих смердов!

Дальше опять калейдоскоп кадров из чьей-то (ах, его! моей!) жизни. Опять острослов – ты хотел продать? Ха! Продать – и день прожить как смерд? Вот ты назойливая муха! А торговец его колотит палкой. Убегает, краснея от стыда, падая на лотки, обдирая ладони, и поддетски голохьясь. Опять подъем – бежит к Эйфе, станет у ее отца/родителей просить приюта – уже ее нет. Пытается то вникнуть в здание бахвальством (я ее друг), то тайком – его взашей, как челядь (да тебе парадного крыльца много – через черный выход в кучу грязи – ха-ха!). Бежит к другому храму. А во Глаховом храме на ступеньках хилые нищие – лезут и льнут к нему, противные руки шарят по ослабевшему телу. А забрать-то нечего – опять проклятья. И опять бежит истошно, пока испуг. Шатаюсь, плетется дальше.

Вечереет. Видит подвыпивших стражников, выбряцавшихся из кабака. Тусклый просвет в сознании – они вернут, вернут! Плетется за ними, за горько-дымными факелами их – боится, больно ражие и недобро гутуют меж собой. Мир сужается до пляшущего факельного круга – ничего не замечает, толчки-пинки, боится утеряться в лабиринте трухлявых лабазов. А те на плацевом пригорке встречают начальника стражи (это явно по разговору) – вид добротный. Гэль подвигается ближе, ждет-дрожит, сглатывая слюну; да тот так по-черному вдруг взъялся на *долбоносов*, что Гэль прирастает к земле, пробует отпятиться... запнулся, да и в лужу. Ох же, мать твою Метару! И тут черный взгляд начальника падает на лицо Гэля – какразно... какразенно... под факелом. И с факела искры, как мотыльки, слетаются к нему – красивые! Но почему жгутся...

Ах, Глаше! Эйфе – ах, кто такая Эйфе? Какой божественной искрой вспыхнула она тогда из провала моей памяти, спасая меня, и как наново вспыхивает сейчас! И не смутной тенью, а живой девчонкой-нимфой, посланницей живых богов...

Ступени были косые, шербатые. Но столько древние, что их косость (или костость?) уже стала местной привычкой, вкопавшейся в землю. Когда-то, на заре летописных времен (на углах выбиты чудные руны – да не прочтешь!) – из парадного красного туфа, но давно обыденные от грязи, и все же храмовые, сиречь, не принадлежащие никому особо, кто возжелал бы испнуть меня по пустой прихоти. В гладких базинах, вытертых босыми пятками, и в звездчатых выколках от лирийских длинных шпор (ах, у дяди были дома такие, дурацкая мода!) копилась вода – в одной я вяло приметил водомерку: как и ваш покорный слуга, комарик пристал тут на перепой – передохнуть. Ах-ха! Да и где же еще водомерке воду пить, как не у Метаровой Купели! Где богиня купалась однажды в незапятнанные времена и где был ее ореховый шалаш, а теперь храм возвышенный в ее честь...

Но по порядку. Сам я только что притомился откель-то и узнал наперво те желанные ступени – смутная иллюстрация из школьных скрижалей! И потом, усевши уже, уже ерзя (шершавы больно!), начал удивляться – ведь не рыночный домик, это храм! Но не Голоха (голоховский уже проходил сто раз, там все приступы были в калеках и нищих, облепивших белесые ступни портала... живое покрывало клопов!), а некой неизвестной секты. Но как будто – ах, дыхание богов почуял, и закружилась голова, и почудилось... На тяжелой дубовой двери – мастеровитое тиснение, древо жизни, точное до малейшей тени на листках, бегущей за солнцем, и до прозрачных крыл порхающих мотылевых фей – как возможно?! Дерево будто вздрогнуло от моего взгляда и тотчас же в левой створе раскрылась *таинка* и оттоль, сама как мотылька, торопящая превращение, выпорхнула малая девчушка, чуть жмурясь на солнце. Сама беляночка, но с вплетенной в косу зеленой лентой, и в зеленом же плотном плащеце и дивных травяных сандалетках – выбежала, беззаботно кусая яркое яблоко, и плюхнулась на ступеньку рядом со мной. Куснула еще раз, норовя захватить побольше, и вдруг протянула сочный остаток мне:

– Держи, а то ты сам шатучий. Я тебя увидела в глазок. Они там пока кисель разводят. Меня зовут Эйфе.

– M-merci, mademoiselle, – я покраснел, но схватился за яблоко, как за Плод Жажды из сказаний, жадно заторопился обкусать со всех сторон, закашлялся, разгораясь от стыда... заметил на ее перстневом пальчике колечко с хризолитом, не простушка! – M-merci, p-pardon. Гаэль Франк к вашим услугам. – И вскочил, и неловко поклонился, чуть не поскользнувшись о того водомерку в мелкой лужице. – P-pardon, – опять законфузился, что сок потешно пузырится на губах (уф, как простолуд, право!)... отважился блеснуть риторикой: – Не хотел лишать жизни сие малое создание!

– Ты смешной, – прыснула Эйфе, но затем доверительно тягая за рукав: – Мне нельзя чавкать, но ты жевай. Они скоро придут за мной.

– А что, – спросил я сквозь слащавую кашицу во рту, – за храм-то это? Некой вестницы? – Что храм какой-то божицы, не сугубо мужий, я догадался сам, раз Эйфе в праздном уборе... И даже предполагал, что Метаров и есть, цель паломничества моего, но кто знает? – И что за руны те, ты научена?

– Это Дом Феи, – Эйфе зажмурилась, заклоняясь столь, что зеленый бантик поцеловал лужицу назад... подставляя личико солнцу. – Смотри на мои глаза. – Она вдруг отважно распахнула их встречу свету, на вздохе я увидел их цвет: темно-коричневый... нет, вдруг разделся на кармин и кобальт, и дальше всеми соцветьями радуги... как у кошки, зрачки сжались в малюсные точки и остались только пылающие радужки.

– Видишь, – она пригнулась к дрожащим коленкам, протирая глаза, – я тоже их принцесса, но дальняя. Фея – это или королева эльфов, или принцесса. Это наше родословие там

на двери. А руны те – имена бывших и будущих королей. Которое нынешнее – ты погляди, щурясь, оно крупнее мерцает.

– Постой-постой, – схватился я. – Я, понятно, к волшебствам приучен, но как же будущих?

– Я не знаю, – Эйфе чуть не плакала уже. – Я не королева и никогда не буду. Следующую будут звать Эль, так говорят звонкие руны. Но она еще не соткалась из воздуха и теней, и волхвы не знают где, они гадают каждый за свою ветвь, а какой смысл, если буду не я. Дай яблоко!

Я опешил опять (что за тюфяк!), но послушно отдал ей огрызок, голый уже до сердечка. Эйфе быстро, как одержимая духом, затолкала его в рот, раскусила так, что обе щеки раздулись, будто жвала... язычком вытолкнула на ладошку большое коричневое зерно, остальное плюнула сердито на сторону:

– Держи, – снова она была забавной беляночкой, разодетой к празднику, доброй к несчастному прохожему всей душой, готовой забесплатно открыть самый детский секрет: – Ты проглоти сейчас! Это судьба! – Ну что за лепет? Но Эйфе втиснула семечко мне в кулак, еще мокрый от яблочного сока, и вскочила. Нет – вспорхнула сразу на две ступени, переполоша несчастного водомерку, оставив мне только ветер и тающий яблонный аромат, да еще раскушенную горечь на заднем зубе.

За ней пришли.

Так вот я бредил! И в таком был мальчишеском счастье, что толчки и тычки реального мира даже не чуял. До того, что стражники, небрежно преклонившие надо мной свои чадилки, даже щеку мне безбородую закапавшие горячей смолой (аж до шрама!), даже замешкались.

И, ей-глаху говорю вам, я смеялся, слыша их разговоры! Мол, и одет-то как дворянчик, и лицо-то засветилось аж ярче, чем их факела... не, не ярче, а как-то, что ль, благодатнее. Словами-то и выразить не знали, и переминались в чудном онеменении (звать ли уж *тихаря?*), пока облаженный не перестал улыбаться.

А я – просто в какой-то момент перестал их видеть. Просто как будто на небо воспрял – в Асгардовы пределы, где вечное древо жизни висится еще в занебесье, в самом богам неведомые пределы.

2

В рыцарских хрониках, до которых в ликейоне я был большой охотник, всегда все оканчивается за здоровье молодых. Эх! Хорошо помню, когда инфлюэнца гуляла по Коголану, мы были лишены учебы и выходных, и сбегал из душного дормантория в библиотеку... шкафы-армуары знал уже назубок и бежал к нужному, доставал очередной том, тут же раскладывался на полу под скупым окном, распуская соплю, и воображал себя героем в серебряных доспехах. Хах! И одолев не больше трети, всегда заглядывал в конец... Забегу и я вперед, чтобы вы не сильно тужили о моей участи. Жизнь не целомудренная книга, много и грязи беспутной, но все же я выжил в Метаре и даже, до поры до времени, неплохо себя чувствовал. А то, что смеюсь и плачу над самим собой частенько, так ведь и был сопливым волчонком! Вспомните-ка сами годы учения – каждое лето мнится вам, что прошлый год был еще детским, но теперь-то вы повзрослели бесповоротно! Уже и менторы величают вас по титулам, так как не отражаться в зеркале готовым кавалером? Но скажу вам простую правду: так длится всю жизнь, и каждое лето вы будете смеяться над собой минувшим.

Я был тогда в охране на дальнем посту. Довольно сонная работа: сидеть и ночь сторожить. Но все же набросаю вам сейчас живую картинку, чтобы прочувствовалось, каково это дремать-дремать... и вдруг.

Треснула ветка где-то и проснулся в испуге, и сонное воображение тут же всколыхнулось фантазиями – вроде слева, не одинец ли гладный, давешний гость? У кого шерсть над калканом свалена в смоляную броню, что тычь его не тычь. Абы только в зрак бить, да где тут видно. А еще ли гонный уж вертопрах, Голох его разнюхай?! Да вроде *препущией*... бишь, росой кабаньей, которой черти поутру моются... вроде не душит?

Тут же назади, за крышей поста, ухнула неясность, как в насмешку. Ах, бородастая тварь! Так вот и дрожи-вертись ужом, безъядно тыкая жалом факела в инешнюю темно-темень, скорее в Щербачка попадешь. Тихо так он ходит, забитый паренек... Эх, я даже чувствовал над ним братское главенство. А не, спит же он, с час назад улегся, пока еще Медведица не показала когти... Тише ночи спит. Угрелся там поди...

Чу!!! Задремал ли я? Факелец угас уж и выпал куда-то к Метаре...

Чуть от страха не обделался, самым нутром почуяв что-то темное, вкрадливо шуршащее со стороны лагеря. Задышал было ртом, влажный пар на губах... да вовремя дернулась щека – попомнил завет-оплеуху прошлой поверки: сопатка тогда потекла на дыхальном пару, шмыганул и попался. Ах! Враз нащупал черен – ах, тут! Вот еще наука – не шарамбать бутеролю (ну, лопастью по-местному), не тащить меч впопыхах, готовить заране... Я шевельнулся, разминая затекшее плечо, пригнулся засадно. Готов! Туша сержа, выданная мражным букетом бедряночки с чесночком, накатывалась понаветру, глуша остальные звуки. Тот еще секач-херач! Зубы запросились биться... Ах, тля!

– Именем Метары!.. – и выкатился из-за шершавого пристенка шелудивым катуном, выжался пружиной, выпростал меч... – К-кто идет? – дурно выкрикнул во тьму, следом лишь поняв, что пережмурился со страху... Ровно мурзик! Ах, позор шутейный. Ладно же... на!

– О-хе-хо! – заухал серж в морочной изблизости, что давешний филин бородастый. И поймай, где! – О-хе-хо! Не убий, кобель! О-хе-хо, вот ты живчик. Так и стовай, и чтобы не искорил мне zde.

– Кто идет? P-parole... При-йговор? – еще махая дрожащим мечом, я продолжал дурно-запинисто кричать, ибо так уставлено, не то зуботычина влетит. Серж-бородастая-сволочь того и ждет. Чудо, что факелец прокис давно и не выдал, чудо Глахово! Ох, молитва с меня!

– Карента, чтобы ты. Успоковался, франчонок? Зазнать бы еще, хде она, а? Тамгрят девки – волшебницы! – Серж хохотнул, треснул какую-то ветку и перегарный роздых приблизился почти к лицу. – Молодчик, мастер Геэль, молодчик, так вот и стражи. – Тяжелая железёная вачега долбанула мне по плечу... – Охе-хо! А! Не мычишь? Молодчик! Завтрема вот, в уволку прихвачу с нами, а? Юбашонок-то гоношить-щипать, а? Устроим им Каренту, а? О-хе-хо! Вот, кстаже, а хде там мой Щербачок? Щербочка? – загнусавил, отвратно хохоча. – Позыв у ме, хе-хо, обслужи уж по-франковски!..

О Глах!

У меня... У меня не было тогда воли сражаться с сержем по-мужски. Хотя какой там муж? Самое достойное ему – топориком бы сзади до жижи, аки слизняка. Но и на это не было сердечного порыва. Да и была бы воля – что бы сделал? И куда бы пошел? И потому – я лишь дернулся слабовольно, будто самого меня ткнули стебарю в причинное место, кадык заплёкался в безгласом спазме, да серж ответа и не ждал, – похрюкивая, уже пробирался наощупь в утробу поста...

А я лишь отшатнулся с его пути, стыдливо перегнулся через планширь в темную сырость, разблевываясь и давя звук, пока там, в душном poste, меняли друг друга хрюканье и хныканье, сопение и какое-то чмоканье... ббббоже... ааагрх, хгтр... фуух... вот, тля... ну, вонец... не учуял бы, ирод.

– Ааа, слатенький! – заорал серж внутри, перебивая истошный Щербачовский писк. Еще поорал, пугая подкрышных нетопырей (так абрашки и сполошнулись из-под строп) и выпростался наконец в улицу, что-то приволакивая хвостом (кажись, портупей) и тяжело вздыша. От разлившегося кругами мерзowego духа, от жаркой туши, почти трущейся о локоть, мне опять заворотило кишки чуть не до горла, еле устоял на млеющих поджилках – ошершил даже щеку о стену, да косяком и приочнулся.

– Охе-хо. Стовай мне, рымля... Ну, завтрема, франчонок. Стражи мне тут... Щербочку мою стережи... О-хе-хо! – протоковал ирод на роздыхе, почти нежно, и опять одарил меня варегой, тля, да уже без злого размаха, и попер-попер-попер натуральным одинцом, хвоща и ломя зазря полногодный ще боярышник, будто не сознавая дорогу. И ниже зачавкал по ольхам, к ручью... видать, бошку от зелья отмочить. Да никакой эльфийской влаги на сю скверну не хватит! Ах, тля... Ааагр... фуух... урод же.

Вскоре человеческий треск утих и опять тревоги – то нетопырь обратно под ендову скребется, то осьмизубы в лесной подстилке слепошатаются... то ли палый гландис (ну, желудь) прополошил осоку, то ли совушка погадку отгрыгнула. По-настоящему, я токмо черного одинца и опасался – ладно бы желудился, а то привадился по корням трюфеля ковырять, нешто делиться? Но то днем... А ща точно завидовал желтоглазихе-неясыти, как ей все ведомо и явно в ночной паутине. Еще выругнулся на сержа по-детски (чтоб до полудня хрипелось), отыскал с пола давешний факелец, потыкал ветошью в затаенную крынку с *деревянным*, трудно раскурил огниво... хмурясь, прогрел махоточку отвара (горчит немилостно). Эх! Факелец приладил пока в щель меж хилыми сосновыми гредами (эх, криволапы), сам присел-привалился на негодный обрубок, насильно прихлебывая. Пламя шипело над ухом, обессиленно тщась укусить, заполняя плескучей щепотою весь мой тогдашний мирок...

Что же, гордиться мне нечем. Но я часто возвращаюсь памятью в ту ночь, где столь густо перемешалась вся путаница тех дней. Когда я жил, ей-глаху, как слабоумный подросток... сущий *dérangée*, кому довольно было минуты, чтобы перейти от плача к смеху. Какое же метарейское слово? Блажеверный? Когда не думаешь об окружающем зле, а просто сосуществуешь с ним. Когда и воспоминания, и сны – легко перемешивались в детском моем сознании, будто в некой Аристофеновой комедии. И ежели я выступал в той комедии первостатейным горховым шутцом – так и что с того? Надо быть честным с прошлым, даже не для друзей (им-то можно

хоть три короба пестрых лент на уши накрутить!), но для себя. Ибо только помня прошлое можно видеть будущий путь. Ибо никогда не нужно приукрашать себя, но недокрашивать – можно. А ежели и приукрашивать, то сатирически и преувеличенно, будто на ярмарке под кривым стеклом. Хах! Помните свои кривые образы? И потому, что столько раз вспоминал и перебирал в памяти каждый свой огрех, рассказ мой уже не рассказ очевидца, а будто перевранный трижды парафраз нелепой сатиры, где перепутаны сон и явь. Но что же делать, если заслужил эту сатиру? И так... Я безглашно дремал на посту, и во сне переживал заново другой сон, с которого начались мои Метарские службы...

А было так: сон был густой, без сполохов, и вдруг-да будто льняное полотно души начали пожигать лучинами... да, будто меня пытали за колдовство, за вожество с эльфами, за неведомые мироскольные страсти. “На одр шельмеца”, приказал кто-то темный, а ложе было – набитая гвоздьями дощина, да еще раскаленная. Сами-то пыталели точно были чернокнижники, ибо как же так? Доска и коркой не тлела, но жгла спину немилостно. И вот – они кричали на меня назвать грядущую королеву. И Гаэль (это я), хотя и во сне, хотя и мучимый нестерпно, почему-то неумемно и злостно хихикал над ними, ибо ведал (не знамо как), что были они сущевеждами и про будущее – даже правильного пророчества не зрили в тех лучинных скрижалях. И гвоздья израстали все новые и новые из ощерившейся глазками доски, плавилась на жару и рослились в погань, в дурнушник шипучий, сляясь на черешках в двух-трехраздельные колючки. “Нет, он ничему не пророк и не свидетель!” – причёл разочарованно кто-то темный, не разглядев во мне корысти, и Гаэль (это я) ажно разыкался от горького смеха сквозь злые уколы дурнушника, как же нет в нем корысти, ибо он и был центром миротока? Аааа! – уже взвыл я, Гаэль Франк, выпадая изо сна, ибо не проспел познать их тайнозвонное слово: но что же суть мир-о-ток?

– Ух-фу, ух-фу... – я дрожал, скукожившись, часто-часто дыша, опять не помня себя. Тело (не я) начало как-то распеленываться, усаживаться, обживаться... Где же? Бесцветная сыростливая камора, чей-то тусклеет и шуршит (улица?) из амбразуры над головой... ах, и каплет с ее подошвы за шиворот. Справа дверь окованная, но с подвыбитой доской, еще там в углу некий чугунок, ч-ч-что же это, урыльник да без крышки? В нос той же миг шибанули мерзостные миазмы и тело вяло скособочилось, блевно изрыгаясь под стену, всю и без меня шедшую сохлыми пятнами... ух-фу... да нечем изрыгаться. Пробила испарина... голова, хотя в тумане, что-то начала соображать – я в стражнице, поди? Брошенный надясь бесчувственным кулем на дощаное лежбище, но без тюфяка, прям-да на нестроганые задорины. Еще занятно: толстые крепкие ноги лежбища одеты в железные тазы... ха, будто в рваные боты! Да-да, присно и вода тамо же гноилась, судя по обильной слизи, да проржавились уж всквозь... К чему бы тазы? Тут рука левшая сама ишь-то потянулась расчесать раззудшую отлежанную щеку, да я и взвизгнул по-бабьи, вскочив и ощупываясь: запястье, да что, вся рука, весь я... весь был в мелочных ранках; по всей плоти торжествовали раздувшиеся кровяные гладыши – их шевеление ощутилось разом и под запятнанной вдрызг сорочкой, и за ухом чой-то (пшел!) заскреблось... и в яйцевище (ох, Голох!) засвербило нестерпно.

Тако и помучался, разоблачившись до зяблых нагишей, давя клопьев по всем швам и пблам, облачившись было брезгливо... да и опять, но ничё уж не сыскал на третий раз, – вышло, по мнительности досада. Но все-то вздрагивал и взрыпливался опять расчехвоститься, сидел нахохленно, бубливо голохясь под нос, пока терпеж не подошел. Кое-как, прижав ноздри, дыхая в ладонь, оправился у *чугунка* и отскочил с запинкою, с портами на коленях еще, кропля еще глинистый пол, обратно под скудосветную амбразуру – поветрие посвежее словить. Но в дверь не бил бивмя и стражу не зыкал вельмово, давешней трепки хватило.

Наконец – я дернулся от дремы. Кто-то далече в коридоре жмакнул железной дверью, прохохотал эхом во все закоулки, протоптал тяжко до моей каморы, скрипанул ключем в скважине и бухнул сапогом по окантовке. Дверь испуганно ломанулась внутрь и в проеме заплясали

огневые тени, затем выказался статный усач в кожаном прикиде стражника (таких-то я и следил вчера по городищу). Малый приладил факел в крепеж на стене, только при огне и развидевшийся, почистил от чего-то картофельного ус, потешно скосив глаза, затем сочно сплевнул какую-то бурую жвачку в сторону чугунка, цыкнул, что-то выцепил в зубе кривым засаженым пальцем, еще хрюкнул носом и сплевнул еще, будто на меткость, и добродушно воззрился на меня:

– Ну что побылось? Гуторишь по метарски-то, а, блаженный? – Голос его оказался сочный, особо гулкий по каморе, действительно обильный слюной (ибо стражник снова весело плюнул в чугунок), и живо напомнил виденные вчера на фруктовом развале желтые пузырчатые срезы помпельмуса.

– Не... ны... – замычал я, взвившись было на новый окорот вроде “не знаю чина вашего, господин хороший” (ах, всё злые следы риторики, коей меня зазря потчевали дома!), да вовремя осекши язык. Да еще потянувшийся с коридора запах кухни пустил стокмую резь по желудку, что оный буркнул простодушно, вовсе уравнивая меня с усатым пришельцем (про себя я уже окрестил его *картофелеусом*). – В-вполне разумею, мой сударь, – я отвечивал в итоге несколько нахохлисто, но без верхних ноток в голосе. Метара его ведает, к добру ли тот малый?

– Агась... – Стражник вдруг разухмыльнулся, абы заклад выиграл. Засим вдумчиво дал двери пару добродушных тумачков, выпростал факел взад и подшагнул ближе: будто подпалить меня хотел (с перепугу помнилось), да на тусклом луче из амбразуры факел утих и лишь тихо шипел. – Ну, ходку-то выходишь? Больно ты блажил давеча... – Еще покрутил на меня белевыми глазами и добавил, ажно причавкнув и сам себя переплюнув: – Как ты пожрать-то? А потом до коменду погре... хр-р, тьфу!.. потолкует с тобой за твое рожье.

Итожно – *картофелеус* вывел меня в харчевальный зал, где моложаваястряпиха хохотнула невнятно: “Новенный, что ль? На поскребушки и соль!”, – и *чавота* нарочито наскребла мне с котла. Я и хотел, да уже не мог рассориться, совсем поплыл головой при явном виде и дыхе еды – густая бобовая каша, даже, кажись, со шпиковой нарезкой и черными чесночными зернами. Ткнулся с поданною ущербной миской за ближний стол, где под светильником завидел еще ничейную пару горбушек серого, да и принялся ломтевать кашу в рот... о-о... от же горячий пересол! Проводник мой тем часом подсел к четверке окоженных мужланов (ох, и непробный тут народец требуют в стражу! дворяне ли вовсе?) и я, отходя от первого жора, начал уже почище выскребать плоску хлебом и даже с любопытством прислушивать... Гундели примерно так:

– ...и так засранцы щедровали по домам, и тот Грегор, кабы что, подмускатил дружка из Голоховских служек, чтобы надписал им харателину, мол, выдана префектом сифонариев. Токмо когда на жнивне вышел пожар в гадальной кварте, попали они на главного схоласта, тот и спросит: кто таковы? Грегор ему на свою диплому в нос – мол, от герцога помощатели. Тот прощельга тоже – пустил их мнимо, а сам секретаря до нас выгнал. Комендус его пыжит: ты что же такой-сякой препоны тлеешь моим помповикам? А он – да какие тать-ять вашеские сифонарии, когдатель такая подделка! Так и записано: выдана префектом сифилариев!

Ааааа! Хохотливое эхо так и забилося гусью-лебедем под низкими сводами харчевальни. Да точно Момос, веселый божок, самолично посетил нажорников: один топотал по гулящей половой доске до несносного резонанса, другой, слезясь в ручки, куवासил по столу латной варевой, так что дрожали сбившиеся в испуганную отару оловянные кружки, третий... От седних неприбранных столов и другие служивые потянулись, роняя утварь, узнать анекдот... корчась от гоготливого удушья, отваливались обессиленно, истово шлепая друг друга по плечам чуть не до преставления. Мне, ради Глаха, странно было их наивное веселье: никто ли не ведал буквы настолько, чтобы усомниться в бытности срамной описки? Но, как бы ни там, подпав под сей клацающий хохочущий рой, да особо после пряной запивки с общего кувшина, и мое

настроение тажно вспенилось... вообще, от еды развезлось по всему телу теплое умиление, хотя что-то нет да и бурчало в толобасе живота.

Идти к коменданту пришлось сквозь улицу – из черной двери в углу дома мы вывалились в денное солнце и говорливую толпу; в нос били запахи редиса и тимьянного меда из расставленных прям-вдоль стены лозовых корзин и перетянутых ремнями кадок; в проулке мокрое линялое белье трепеталось сквозь мористый ветерок и вяхиревое сражение в пыли за какую-то корку. Затем – во двор с белесыми колоннами и выше-выше по щербатой лестнице; настроение мое тажно вышилось с каждой потертой ступенькой, будто по мажорным нотам: как же не признают во мне дворянина? да определяют может к этому герцогу! или вселят в трактир, пока отпишут домой! и поручат временно кошель энтих... как... левов! и уж буду-то осторожней с элем, и девку возьму одну для качества... аль двух ли?!

Солдат (другой уже, белобрысый веснушарик) завистно придержал меня, зажав в горсть клочок моей куртки и оттянув назад. В светлой, крашеной охрой комнате без двери – за входной аркою, сквозь солнечные клинки наискосок, виделся боком давешний добротный бородач: нынче-то в зеленом плотном мундире, впрочем, расстегнутом на часть крючков, знамо, от усердия! Будто пыжащийся за тяжким дубовым столом над кожистым пергаментом с угнетенными краями – знамо, неподдельная герцогова хартия, коли даже папье-прессы в виде диковинных змеев! Комендант простыл над нею со стилусом во внесенной руке, вотще вода по воздуху какие-то знаки зодиака, в школярских муках плутая по завиткам букв; в завитой бороде его тяжелились потные капли...

Аха-ха! Тогда, на ночном посту, даже просквозь дрему, я шибко прихлопнул в ладоши от столь славного сна. Как забавно, спустя годы, смотреть на себя со стороны! Казалось мне, ей-ей вот ухвачу птицу-удачу за злашеную гузку, но от хлопка моего, от вздражения стенки под спиной, хилый факелец пал обратно на земляной пол: пламя пышнолось обидчиво кривыми хлопьями, да тут же выродилось в тлен и скверный чад. И подручный сон, люди и слова-птицы, даже сам фантастический образ мой, яркий абы любо-молодец, начали киснуть как под порчей, обличаясь школярскими карикатурами...

Вот так было:

– А-ха! – я вальяжно было хохотнул, все еще в добродушном настроении, предчувствуя яркое возвышение своей позиции грамотея-астронома при дворе, но ах! Веснушарик так прицельно, як-же муху, шлепком осадил меня по губам, что я самотельно съежился, попомнив тычки наставителей в ликейоне, покрылся затем пунцовыми пятнами и забулькавшими в груди выдохами... уфф!.. тожвременно кипятясь воображением гнева и стыдностью детской знобы в костях. Уфф!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.